

Детство среди декабристов

О воспоминаниях М. С. Знаменского

В лучшие годы знаменитого русского сатирического журнала «Искра» (1859—1864) в нем нередко помещались остроумные карикатуры молодого сибирского художника Михаила Степановича Знаменского.

Карикатуры эти отличались остроумием, идейностью, уничтожающей насмешкой над проявлениями человеческой глупости и пошлости.

В 1875 г. в Тюмени была выпущена книга иллюстраций Знаменского к роману «Обрыв» И. А. Гончарова, а вслед затем вышла книга карикатур «Поездка на кумыс». Довольно значительное собрание неизданных карикатур Знаменского хранится в Тобольском государственном музее, а также в некоторых частных собраниях.

М. С. Знаменский родился 14 мая 1833 г. в Тобольске. Происходил из «духовного» звания. Его отец Степан Яковлевич Знаменский в бытность свою в Тобольске и Ялуторовске дружил со ссыльными декабристами и оказывал им содействие в их просветительной деятельности.

Из Тобольска в Ялуторовск Степан Яковлевич был переведен в то время, когда будущему художнику едва исполнилось семь лет. Мальчик сразу сдружился с детьми и воспитанниками декабристов.

Первоначальное образование Знаменский получил в «ланкастерской» школе, в которой принимал самое близкое участие Иван Дмитриевич Якушкин и другие декабристы. Впоследствии он с благодарностью вспоминал о своих воспитателях-декабристах.

Дальнейшие этапы образования: уездное училище в Ялуторовске, духовная семинария в Тобольске и так называемая «образцовая художественная семинария» в Петербурге, в которой Знаменский учился рисованию под руководством известного профессора Солнцева. Определенно в это учебное заведение немало способствовал живший в Тобольске известный декабрист Михаил Александрович Фонвизин.

В трудных материальных условиях очутился в Петербурге Знаменский, но переносил терпеливо лишения и усердно учился.

Обучившись живописи, Знаменский возвращается в родной Тобольск и делается учителем рисования в духовном училище, семинарии и других учебных заведениях. Отсюда он посылает в Академию художеств свою картину «Старик» и получает звание свободного художника.

Знаменский занимался вопросами археологии и этнографии Тобольской губернии. Несколько лет подряд производил раскопки старого городища, где стояла когда-то столица Кучума — Искер. Найденные предметы он тщательно зарисовывал; получился прекрасный альбом старины. В 1881 г. альбом был куплен Сибиряковым и пожертвован в Томский университет. У него был другой замечательный альбом с рисунками «От Тобольска до Обдорска».

В 1863—1864 гг. он совершил продолжительную поездку на север: в Березов и Обдорск, обогатившую его интересным художественным материалом. Вскоре (в том же 1864 г.) он был командирован генерал-губернатором Западной Сибири в Среднюю Азию на Коканскую границу во время Ташкентской кампании для «снятия планов и видов завоеванной местности».

В 1866 г. Знаменский опять едет на север до Обской губы. О результатах и впечатлениях дальнейшей поездки мы можем узнать из его неизданного письма к сестре Александре Степановне¹.

«Моя поездка была отличная. Добрались мы до самой почти губы, по крайней мере были в безбрежном пространстве, где встретило нас стадо громадных дельфинов. Часа два гонялись за ними на пароходе и несмотря на то, что они выпрыгивали из воды сажая в двух от парохода, подстрелить их никому не удалось. После этой оригинальной охоты мы повернули обратно. Погода стояла во все время великолепная. Наши термометрические наблюдения показали, что в Тобольске не было ни одного такого дня, какими поль-

¹ Письмо хранится в собрании писем — это строки И. А.

зовались мы, — северный край старался угостить нас на славу. Показал нам даже северное ситие, что в это время случается редко. Уральский хребет со своими снеговыми вершинами, блестел перед нами. И я запасаю здесь здоровьем, что увидите по прилагаемой карточке; запасаю и большим числом рисунков. Кроме рисунков, привез модели остяцкой работы: берестяной чум, сани, лодку, невод и проч. Но главное: от миссионера удалось мне достать их идола: это высушенная щука, которую они считают одним из главных божеств. Одета в золотой галун. Теперь в моей комнате можно будет составить себе понятие о самоедах и остяках, а с присылкой кибитки — и о киргизах. Удалось мне срисовать и древность: ветхое знамя Ермака, сохраняющееся в Березове...»

Обладея несомненным литературным дарованием, Знаменский писал сравнительно мало. Не перечисляя его статей в «Сибирском листке», назовем обширные статьи: «Наталья Дмитриевна Фонвизина» («Литературный Сборник», изд. «Восточным обозрением» в СПб. 1885 г.), «Иван Дмитриевич Якушкин» («Восточное Обозрение», 1886 г.), «Исчезнувшие люди» (в сборнике семидесятых годов). Знаменский является бытописателем Тобольска: «Тобольск в сороковых годах» (очерки печатались в «Восточном Обозрении» 1889 г. и перепечатаны в 1925 г. в Тобольском журнале «Наш Край»), «Пятидесятые годы в Тобольске» — рукопись). Во всех этих произведениях Знаменский воспомина-

ет о ссыльных декабристах Тобольска и Ялуторовска.

Остались неизданные дневники Знаменского, написанные очень живо и интересно, рисующие быт самого художника и окружающего его общества. Здесь автор часто говорит о встречах с известным поэтом П. П. Ершовым. После смерти Знаменского издана еще его брошюра: «Исторические окрестности г. Тобольска» (изд. А. А. Крылова. Тюмень. 1901 г.).

Неожиданная смерть художника и общественного деятеля М. С. Знаменского 3 марта 1892 г. произвела сильное впечатление на общество. Его, как и его друга П. П. Ершова, хоронил весь Тобольск.

В настоящей публикации мною восстановлены все собственные имена декабристов, о которых писал Знаменский. В своей работе я пользовался:

1. Неизданной собственноручной рукописью М. С. Знаменского на 96 страницах. Рукопись содержит воспоминания Знаменского о детских годах, проведенных в Ялуторовске.

2. Печатной работой М. С. Знаменского: «Исчезнувшие люди». Сибирские очерки. Издание книгопродавца Плотникова. 147 страниц. СПб. 1872 г.

3. Рукописью дневника М. С. Знаменского, находящейся в собрании пишущего эти строки.

Многое мне сообщила престарелая племянница Знаменского, Лидия Ник. Знаменская, мать которой в свое время была гувернанткой у Муравьевых и отец которой воспитывался на средства декабристов Фонвизинных.

1 Хранится у пишущего эти строки.

И. Абрамов.

ВОСПОМИНАНИЯ ХУДОЖНИКА М. С. ЗНАМЕНСКОГО

I

21 СЕНТЯБРЯ 1859 г. ТОБОЛЬСК

Умер Ф. М. Башмаков, последний из декабристов, живших в нашем городе. По-немногу память о них начинает сглаживаться. Собственно для себя, в свободные минуты я решил записать свои воспоминания о людях, которых с дней моего детства я привык уважать, несмотря на недоброжелательные отзывы разных чиновных душ. С того времени, как я начал помнить себя и до 23 лет я был с ними. И, если теперь подлость, низость и взятки болезненно действуют на меня, то этим я обязан людям, о которых всегда говорю с почтением и любовью.

Уже много лет тому назад в 1838 или 39-м году в нашем доме часто говорили о семействе Фонвизинных: Михаиле Александровиче и его жене Наталье Дмитриевне, урожденной Апухтиной. В Тобольске ее звали «черной дамой», так как она предпочитала одеваться во все черное.

Мы жили тогда бедно и Фонвизины ста-

рались помочь нам, чем могли. Помню, в это время отца перевели на службу в город Ялуторовск. Отцу не хотелось отрывать моего старшего брата Колю от наладившегося уже ученья. Тогда Фонвизины предложили отцу взять Колю к себе на воспитание. Отец согласился.

Неохотно расставались мы с Тобольском, но отец утешал нас тем, что и в Ялуторовске есть «ихние», т. е. декабристы.

Наталья Дмитриевна долго говорила с отцом. Потом позвали брата Колю, велели ему одеться, и он уехал с Натальей Дмитриевной. Возвратился он вечером, запыхавшись.

— Вы уедете в Ялуторовск, — говорил он торопливо, — а я остаюсь... Буду жить у Натальи Дмитриевны. У них дом большой... сад... цветы... книги с картинками. В одной книге они все нарисованы: Михаил Александрович тележку везет, тачку, а вблизи солдаты с ружьями...

Коля привез сладких, хороших конфет в узелке и поделился с нами.

ЯЛУТОВСКОЕ. ВИЗИТ ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА ЯКУШКИНА

Мне шел тогда седьмой год. Я смутно помню наш зимний переезд в крытой кибитке в Ялутовск. Долго мы ехали по снежным сугробам. Я спал, просыпался, промерзал изрядно. А мы все едем. День ли, ночь ли на дворе, — мы все едем. В моей голове вьются любимые сказки: я воображаю себя странствующим героем, который ищет всевозможных приключений, но приключений особых не было, наши крытые сани подвигались незаметно вперед. Я напряженно всматривался вдаль: не видать ли там крутых берегов, подобных нашим тобольским, но гор никаких не было. Ялутовск стоял на ровном месте и показался мне скучным...

До приискания себе квартиры, мы остановились у знакомых. Вечером, когда жарко топились печь, хозяйская дочка, барышня, рассказывала о декабристе Якушкине:

— Якушкин? Ой какой страшный... В вострой шапке, с усами... У него во дворе есть высокий столб. Он часто на него лазит. Говорят, он колдует... погоду делает. Он тоже из несчастных.

Признаться, я не поверил хозяйской дочке. Если Якушкин из «ихних», значит он хороший. Зачем же эта барышня что-то нехорошее говорит о нем? Чтобы расшеять свое недоумение, я пошел на кухню, где у меня был верный приятель, наш кучер Петр. Я был для него большим авторитетом, и он всегда восхищался моим умением рисовать. А иногда шутил: — Вишь ты, диаконскую курицу изобразил.

— Это я — гуся.

— Чего гуся? Разве я не вижу, что диаконскую курицу. Вон один палец-то висит обрублен: это онемеднясь пьяный дыякон нарочно обрубил.

— И где он ее видел? Славно смастерил, — продолжал Петр восхищаться моим произведением.

Вот к этому моему другу и почитателю моего художественного таланта отправился я в кухню, чтобы поговорить о новом месте, куда мы приехали, а также о новых людях.

В кухне, кроме Петра, сидела еще хозяйская кухарка, толстая рыбая девица с сердитым лицом. Она сидела у теплой печки и хладнокровно курила трубку. Петр только что пообедал, клал быстрые кресты и еще быстрее отмахивал головой.

— За хлеб, за соль, — обратился он к мужеподобной девице.

— Ладно, — ответила та и сплюнула в сторону.

— Петр, мы сегодня переберемся на нашу квартиру?

— Как же, — сегодня мы все там ночуем. Там уже у твоего папы и гость сегодня был.

— Кто ж такой?

— Барин какой-то. Сказывали — Якушкин.

— С какого он боку барин? Такой же

как и наш брат — варнак, — отозвалась кухарка.

— Да ты его за что? — вступился Петр.

— Сослали — значит варнак. Был барин, да сплыл...

— Варнаков, тетка, секут, вот как нас с тобой, а его нет.

— Все едино, — продолжала мужеподобная девица и потом спросила:

— Тебя за что?

— Я, вишь, мальчишкой от барина убежал, да все и бродяжил. Я — непомнящий.

— Ну, а я с барыней не помирила... А они, говорят, хуже, хотели царя убить...

Дверь открылась. Вошла хозяйка и прервала беседу.

Мы уже на новой квартире.

Я помогаю отцу расставлять стулья. Я так увлекся своим делом, что не сразу заметил неизвестного человека, стоявшего в дверях и с добродушной улыбкой смотревшего на нас. Гость был в легонькой шубе с коротеньким капюшоном, в остроконечной мерлушечьей шапке на маленькой голове, нос у него был острый с горбинкой, глаза темные и быстрые, улыбающийся красный рот его обрамлялся сверху черными усами, снизу маленькой тупосрезанной эспаньолкой.

— Устраиваетесь? — приветливо спросил он отца.

— Да, понемногу.

— Нам писали наши о вас много хорошего, мы очень рады. Хороший человек на нашем свете — вещь не лишняя. — Он улыбнулся. — А это ваш сынок?

Он снял свою шубку, подошел ко мне, взял сухими горячими руками за голову, нагнулся и поцеловал в лоб.

Я удивляюсь, как я мог остаться тут в комнате и смотреть на него; ведь я в то время постоянно убегал в заднюю комнату, если гости обнаруживали ко мне какой-нибудь интерес.

После от отца я узнал, что это был Иван Дмитриевич Якушкин.

Пока он говорил с отцом, я не переставал его рассматривать. Все мои смутные понятия о «черной даме», о ее друзьях, добрых и смелых людях, казалось олицетворялись в этом сутуловатом приветливом человеке. На этот раз он долго оставался у нас.

— Однако я не буду мешать вам, устраивайтесь. Он надел свою шубку, двинул на лоб остроконечную барашковую шапку и вышел, сказав мне на прощанье, что скоро познакомит меня с хорошими ребятами.

3

ВЕСНА. НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА

Сибирское солнце начинало пригревать по-весеннему. В нашем садике, состоявшем из душистых пихт, елей, черемухи и высоких осокорей, уже появились проталины. Грядки на огороде начинали просыхать. Между двумя грядами я нашел валявшийся маленький как бы игрушечный домик, укрепленный на длинной жердочке.

— Что это? — спросил я своего друга Петра, нашего работника.

Петр теперь целыми днями находился на дворе. Верно вспоминалось ему поэтическое прошлое, т. е. его бродяжнические годы. Он следил за игрой туч в далекой небесной синеве и громко вздыхал.

— Что это, Петр? — повторил я свой вопрос, указывая на маленький домик, на длинном шесте.

— Это? Это, братец ты мой, скворешница. Вот уже скоро скворцы к нам заявятся. Как поставим мы этот птичий домик повыше, они, т. е. скворцы, тут и поселятся. Будут жить да поживать, да песенки распевать...

У меня дух захватило от волнения. Я торопил Петра немедленно водрузить птичий домик повыше и ужасно беспокоился, что, чего доброго, скворцы не заметят домика и пролетят мимо.

— Не пролетят, — уверял меня Петр, — уж я знаю. Скворец птица умная. Есть которые имеют эту птицу и даже говорить по-нашему ее научают. Ты уж, братец, поверь мне. Я ведь знаю...

Как ни велик был авторитет Петра в этих делах, однако я не давал ему ни минуты покоя и все спрашивал о скворцах. Он клялся, что во всем городе еще нет ни одного скворца, и что подымать скворешницу выше нет никакой надобности и что без того наша скворешница выше всех. Откуда бы ни летели скворцы, они заметят ее первой и сейчас же поселятся в ней.

— Ты уж не сумлевайся, — прилетят! Ты бы вот книжку пошел почитать. А мне, вишь ты, вилы надо ладить...

Тут, к большому удовольствию Петра, меня позвала сестра. Меня ожидал сюрприз: мать и сестра сшили мне великолепный костюм: брюки и курточку. Я должен был сейчас же облачиться в свою обновку, причесться и идти вместе с Иваном Дмитриевичем Якушкиным в гости к Матвею Ивановичу Муравьеву-Апостолу.

Сестра тщательно причесывала меня. Маленькая делала наставления — не шалить, не сломать там чего-нибудь и помнить, что в кармане курточки имеется на всякий случай носовой платок.

Мне стало страшно. Не отложить ли? Но руки сестры выдвинули меня прямо к Якушкину. Отступление было отрезано.

— А вот и он! — добродушно говорил Якушкин. — Здравствуй, здравствуй!

Он поцеловал меня в лоб.

Ты готов? Ну так, пойдем!

— Прощайте, — обратился он к отцу, — а о школе мы с вами потолкуем основательнее... школа — вещь необходимая!..

Мы прошли по широкой ялуторовской улице, повернули в переулок и подошли к сереньким воротам серенького домика с большими стеклами в окнах. У меня

сердце билось от волнения. Вот длинная передняя с одним окном. Нас встречает невысокого роста полный человек с трубкою во рту, в таком же костюме, как и Якушкин; с ним радостная нарядная девочка.

— А, привели! Вот и хорошо! — сказал он как-то насмешливо моргая, глазом на меня, — вот тебе, Гутинька¹, гость, занимай его. — сказал он девочке, в то время, как я снял свою шубенку и стоял растерянный, не зная, куда девать свои руки.

Гутинька проводила меня в свой уголок, где я почувствовал себя значительно смелее. Отсюда мне была видна часть другой комнаты, в которой встретившись нас хозяин разговаривал, заложив руки за спину, с Якушкиным, старательно набивавшим свою трубку. Виднелся мне еще угол дивана, на котором сидели две женщины в белых чепцах и темных платьях. Они разговаривали между собою и, как мне показалось, вязали чулки.

— Как вас зовут? — спросила Гутинька.

— Миша.

— Вы знаете, кто это стоит у камина?

— Нет, не знаю.

— Это папа, Матвей Иванович². А на диване сидит мама Марья Константиновна, а рядом с нею — Александра Васильевна Ентальцева.

Гутинька наклонилась к моему уху и с улыбкой прошептала: «У нее парик». Видя, что я не понимал, она добавила:

— Парик, парик... чужие волосы.

— Гутинька! — отозвался Матвей Иванович, — шептаться нехорошо.

Девочка сконфузилась, но скоро оправилась, достала с полки книжку и стала мне показывать картинки.

— Ну, дети, — прервала нашу беседу Мария Константиновна, — пойдемте обедать.

Мы пошли и уселись за круглым столом, рядом со взрослыми. После нескольких ложек супу собеседники продолжали прерванный разговор.

— Еще два дня и снегу не будет, — сказала Ентальцева. — Я уже выставила зимние рамы.

— А у нас Матвей Иванович не велит.

— Барометр обещает хорошую погоду, — сказал Якушкин.

«Надо спросить у Гутиньки, что это такое барометр», — думал я про себя.

— Вы знаете, — сообщила хозяйка Мария Константиновна, — скворцы уже прилетели!

Я так и вздрогнул, словно меня кто-то уколол иголкой. Скворцы прилетели!.. Мне уже было не до обеда. Я встал из-за стола и объявил хозяйке, что мне есть больше не хочется и что мне нужно домой.

Меня сначала не пускали, но мою сторону принял Матвей Иванович. Он весело улыбнулся мне, легонько пощекотал меня и велел работнику проводить домой.

Я летел домой, словно на крыльях, не обращая внимания ни на прохожих, ни на дома.

Да, Мария Константиновна сказала правду: скворцы прилетели! Не обманул

¹ Гутинька — Августа Павловна Сазонова, воспитанница Муравьевых. Впоследствии, живя в Москве, она писала о декабристах.

² Декабрист Муравьев-Апостол.

и Петр: около скворешницы деловито летала черная птичка, доставляя мне огромную радость.

★ ★ ★

С этой памятной мне весны я часто посещал гостеприимный серенький домик Муравьевых, пока жил и учился в Ялуторовске. Матвей Иванович и Иван Дмитриевич больше остальных своих товарищей занимались с нами, детьми. Матвей Иванович часто рассказывал о своем прошлом; меня особенно занимал один из его рассказов о том, как его сослали в очень глухое место; выстроили для него хижину, дали кухонные принадлежности. Он рассказывал, как жил там один-одинешенек со своей трубкой и собакой. Помню, мне так хотелось нарисовать его в этом одиночестве.

Мы гурьбой вбегали к нему в гостиную. Он открывал фортепиано и начинал играть для нас, — а иногда заставлял петь. Потом переходил к своим любимым песням:

Гостью небесную,
Взальность прелестную,
Всем неизвестную
Нам ниспошли.

Еще Матвей Иванович любил петь:

Француз дитя,
Он вам шутя,
Разрушит трон,
Издаст закон...
Наш царь с кнутом,
Как поп с крестом;
Он им живет,
Он им богат!...

Или начиналась музыка для танцев и под нее пелось:

Ура, в Россию скачет
Кочующий деспот².

Товарищи Матвея Ивановича распевали популярную в Сибири песню³:

Бывало, в доме преобширном,
В кругу друзей, среди родных
Живешь себе в веселый мирном
И спишь в постелях пуховых.

Теперь же в закоптелой хате
Между крестьян всегда живешь,
Забьешься, скорчась, на полати
И на соломе так заснешь.

Бывало, пред тобой поставят
Уху стерляжью, соус, крем,
Лимоном, бланманже приправят,
Сижу и ничего не ем.

Теперь похлебкою дурною,
С мякинным хлебом — очень сыт.
Дадут капуста мне с водою, —
Ем, за ушами лишь пищит⁴.

¹ Стихотворение А. Полежаева.

² Александр I. Эпиграмма Пушкина.

³ Написана Одоевским.

⁴ Этот отрывок слышал Ф. И. Достоевский в Мертвом доме.

Бывало знатных по примеру
Без лучшей водки есть нельзя.
Шампанское или мадера,
Стаканы с пуншем вкрут тебя.

Теперь, отбросив все безделья,
Стремглав бежишь всегда в корчму,
На гривну тянешь там горелки
И рад блаженству своему.

— Хорошо? — спрашивал Матвей Иванович, потирая свои колени.

— Хорошо! — дружно отвечали его маленькие слушатели.

Иногда наш приход заставлял Матвея Ивановича в хандре. Тогда мы вместо веселых звуков слышали печальную песню: «Уж как пал туман», песню, в которой говорилось о судьбе его казненного брата Сергея Ивановича Муравьева-Апостола.

«Уж как пал туман на Неву-реку,
Крепость царскую, Петропавловску.
Не проглянуть с небес красну солнышку,
На развеять тумана ветру буйному»...

Кончив песню, Матвей Иванович смахнул слезу и произнес свое всегдашнее: «Ох-хо-хо-хо», — за которое мой отец шутя называл его «охохоней». Так называлась одна старообрядческая секта в Ялуторовском округе.

4

ГОРОДНИЧИЙ ПРЕСЛЕДУЕТ ГОСТЬЮ МУРАВЬЕВА. НЕОЖИДАННЫЙ ОБЫСК И АРЕСТ

На террасе серенького домика Муравьева сидели гости. Сам Матвей Иванович возился около самовара и уверял, что никто не сумеет сварить кофе так, как сварит он. Здесь же сидели за шахматной доской Василий Карлович Тизенгаузен и Собанский, Иван Дмитриевич Якушкин сидел на перилах террасы, окруженный ребятишками, и рассказывал им, что куда пролезает голова, туда пройдет и все тело. Причиной этого разговора был толстенький мальчуган, брат жены Муравьева, застрявший между баясинами перил. В углу на деревянной зеленой скамейке сидела хозяйка дома и беседовала с Александрой Васильевной Ентальцевой.

Скоро поспело кофе, и все нашли его отличным.

Иван Дмитриевич был в хорошем настроении и говорил о своем любимом детище — школе.

— Школьное здание растет и к зиме можно будет начать занятия.

— Что со стороны родителей, будет сочувствие, об этом нечего и толковать. А ребята будут охотно заниматься. Но много придется перенести придинок адешнего начальства. На днях я виделся со смотрителем училища Лукиным. Он все выведывал какую такую школу мы затеваем, — почему это мы так заинтересованы детьми местной бедноты? Нам нужно быть готовыми к отпору, — без гнусных доносов дело не обойдется.

— Вы уж очень мрачно смотрите на все, — возражали Ивану Дмитриевичу то-

варищи. — Кому какое дело до нашей школы?

— Многим, очень многим наша школа покажется бельмом в глазу. Вы не забывайте нашего положения, нас не терпят. Решено уже и подписано, что мы — люди погибшие. Как бы мы ни вели себя хорошо, мы все-таки в их глазах бунтовщики.

Из сада доносились веселые детские голоса. На террасе наступило молчание, по временам прерываемое отрывистым, обрывным вздохом Муравьева: «ох-хо-хо»...

В это время на двор быстро въехал дорожный тарантас. На лицах Муравьева и Якушкина выразилось изумление в некоторый испуг, но через минуту они с радостным криком неслись, как дети, навстречу молодой красивой женщине, выпрыгнувшей из тарантаса.

Приезжая оказалась Каролиной Карловной, дальней родственницей Муравьева и близкой, родной по убеждениям всему кружку декабристов, заброшенных в глухой городок.

Возвращаясь на родину из Сибири, она сделала крюк, чтобы позидать их, и была награждена искренней радостной встречей.

Горячие объятия, поцелуи и бурный поток взаимных вопросов и ответов. Веселый смех, давно не раздававшийся в сереньком домике, носился по комнатам и вылетал в раскрытые двери и окна. Жизнь сообщилась всем домашним: горничная летала бабочкой, меланхоличный кучер Сергей с несвойственной ему энергией двинулся под навес сарая легкий тарантас. Солидный с медным ошейником Милорд громко лаял и несколько раз бросался на шею своему хозяину. Один только Василий Карлович Тизенгаузен ходил по комнатам своим неизменным шагом, тем шагом, которым он измерял когда-то свою камеру в крепости, тем шагом, каким он когда-то расхаживал по стационным комнатам, бряцая кандалами. А между тем, он не менее других разделял общую радость и не терял ни одного слова из дружеской беседы. Он только не любил тревожить своего языка, зная, что и без него все будет спрошено и рассказано. Он был необыкновенно сдержан и не обнаруживал никогда ни гнева, ни радости.

Рассказывали про него такой случай. Однажды на сибирской почтовой станции его товарищи развеселились и даже устроили танцы под звуки железных кандалов. Некий стационный смотритель в праздничном настроении, вероятно под хмельком, вздумал прочесть Василию Карловичу нотацию: облокотившись на спинку стула, на котором сидел Тизенгаузен, и смотря на его лоснящийся череп, обратился к нему с такою речью:

— Ну, а ты, слышишь, что так важно сидишь? Что мне с тобою делать: дунуть на плешь твою или плюнуть?

— Попробуй! — спокойно произнес Тизенгаузен.

Его товарищи поспешили оттащить смотрителя.

— Что бы ты сделал? — спрашивали товарищи, спустя некоторое время, если бы смотритель исполнил свое намерение?

— Убил бы его.

И никто не сомневался, что он исполнил бы свое слово.

Якушкин в эту минуту был счастлив. Не спуская глаз с приезжей, он слушал ее рассказы, как слушает ребенок интересные нянины сказки.

Солнце уже золотит верхушку колокольни, виднеющуюся в раскрытое окно. В соседней комнате готовят чай. Каролина Карловна в отведенной ей комнате достает наброски портретов друзей. Вдруг в передней раздался чей-то незнакомый голос, в комнату вошла горничная Зоя и сообщила, что квартальный надзиратель спрашивает приезжую. Вслед за ней появился и сам квартальный с очень красной физиономией, видимо, не трезвый, по случаю праздничного дня. Отстранив горничную, он вступил в зал смелыми, но не совсем твердыми шагами.

— Что вам угодно? — спросил его сердито Матвей Иванович.

Квартальный, окинув комнату осоловевшими глазами, объявил, что ему надобно приезжую, пусть забирает свой вид и отправляется с ним сию же минуту в полицию.

— Что-о-о?

— Али русского языка не понимаете? Горничный приказал привести приезжую в полицию... Ну ты, жуш! — Последние слова относились к Милорду, который, выбравшись из-под дивана, яростно оскалил зубы на квартального.

Якушкин схватил Милорда за ошейник, и быстро водворил его под диван, отстранив рукою взволнованного Муравьева и подошел к полицейскому чину.

В это время, не замечая происходящего в комнате, вошла радостная и довольная приезжая, с рисунками в руках.

— А толубушка!.. — обратился к ней квартальный, но докончить фразы ему не удалось: сухая, железная рука Якушкина ловко и быстро повернула его и вывела в переднюю.

— Вы не смеете!.. — начал было квартальный. — Не с вами разговаривают.

— Но, взглянув в глаза Якушкину, осекся. Хотя он был и «под бахусом», но не мог не заметить, что в глазах Якушкина светится недобрый огонек и что попал он к решительным, особенным людям, которые не задумаются разлучить его на веки вечные с его мягкотелой сожительницей, с теплым углом и доходным местом...

Он переменил тон:

— Да помилуйте!.. Я чем же тут виноват? Кабы я от себя, а то ведь горюничий... сами знаете... он, сами понимаете, и по зубам готов, несмотря на чин...

— Что вам надо?

— Я докладывал... Приказано привести приезжую...

— Это вздор!.. Вы пьяны и не так поняли. А вид на жительство мы сейчас пришлем. Идите!

— Очень благодарен.

И, не заставляя просить себя вторично, он быстро шмыкнул в двери и только за воротами выругался всласть.

Выпроводив квартального и отослав документы для прописки, Якушкин возвратился уже с другим настроением. Кружок ялуторовских декабристов, не желая огорчать далеких друзей, в письмах своих никогда не жаловался на придирки местной полиции, на разные местные дразги; по этой причине некоторые друзья прониклись убеждением, что Ялуторовск — прямо рай для ссыльных; некоторые друзья даже мечтали переселиться в Ялуторовск. Каролина Карловна в эпизоде с квартальным видела только какое-то смешное недоразумение и не очень беспокоилась. Якушкин же был уверен, что это только прелюдия к другим, новым, еще более неприятным столкновениям. Марья Константиновна продолжала свои хлопоты около самовара, причем стаканы в ее руках дребезжали более обыкновенного. Вдруг чуткое ухо Матвея Ивановича Муравьева расслышало новые шаги на лестнице. В переднюю вкатывался сам начальник города — ялуторовский городничий Власов.

— Из подорожной видно, — начал он, поздоровавшись, — что путь проезжающей лежит совсем не через мой город... И потому, вы уж извините... предписания, т. е. инструкции... ну-с, моя обязанность заарестовать проезжающую при полиции. Но, прежде всего, мой служебный долг велит произвести строжайший обыск в ее вещах.

Окончив эту тираду, Власов прошел мимо хозяина квартиры, галантно раскланиваясь и расшаркиваясь. За ним шел письмоводитель и еще какой-то здоровенный малый.

Опомнившись, Муравьев громко сказал:

— Вы с ума сошли!

К ним поторопился Якушкин:

— Перестань, Матвей, говорить вздор, — успокаивал он Муравьева, — тут я вижу, недоразумение.

Власов видел, какой эффект производит его присутствие, видел сверкающий взгляд Якушкина, явно противоречащий его мирным словам, видел и торжествовал. Его только немного бесило хладнокровие Тизенгаузена, и он внутренне дал себе слово когда-нибудь потешиться над этим «идолопоклонником» (Тизенгаузен имел у себя в квартире несколько больших статуй и за это ялуторовские мещане звали его «идолопоклонником»).

Дело кончилось тем, что, перерыв чемоданы приезджей, городничий заменил арест при полиции домашним арестом.

Эти события приоткрыли перед Каролиной Карловной уголок, «райской» жизни ялуторовских друзей.

Тизенгаузен, надвинув на свой сноповидный парик осмиугольный картуз, отправился своим обычным шагом домой. За ним последовала Ентальцева. Якушкин выкурил еще трубку, пожелал покойной ночи и тоже вышел. Домой ему не хотелось. Он повернул к темневшим вдали рошам... Он обдумывал вопрос: каким образом о сегодняшнем событии дать знать в губернский

город Тобольск? И он шагнул дальше и дальше от мирно спящего города.

Где же причина окружающего зла? Причина: всеобщее беспроектное невежество и глупость. Вот с ними-то и надо вести борьбу... Нужно доказать, что можно вести борьбу даже и тогда, когда руки у тебя крепко связаны.

И он шагнул дальше и дальше, стараясь успокоиться.

Послышался хруст ветвей под лошадиными копытами и веселое посвистывание. Якушкин насторожился и стал пристально вглядываться через кусты тальника. В фигуре всадника Якушкин узнал близкого знакомого Александра Львовича Жилина, молодого учителя уездного училища. О нем давно уже говорили в городе, что он частенько ездит к своей возлюбленной за 160 верст.

— Эрика! — воскликнул Якушкин и, сделав несколько быстрых прыжков, очутился около удивленного всадника.

— Стойте, ни с места!

Озадаченный всадник схватился было за руль.

— Милай, Александр Львович! — сказал ему ласково Якушкин, — опустите ваше смертоносное оружие: ни жизни, ни кошелька от вас не потребуется...

Оба весело расхохотались.

— Да... — продолжал Якушкин, — ни жизни, ни кошелька... не потребуется одна очень важная услуга... Случай не напрасно столкнул меня с вами.

И Якушкин рассказал об обыске и домашнем аресте:

— Съездите, голубчик, в Тобольск, свежите мое письмо Фонвизину...

— С превеликим моим усердием, — ответил Жилин, — но научите, как же быть с моей службой, с уроками?..

— Идите к смотрителю Лукину, разбудите его, сочините, что-либо, возьмите отпуск на три дня. Поскорее собирайтесь и заезжайте ко мне за письмами и за проганами.

Энергичному Жилину, совершавшему в продолжении полутора суток 160-верстную поездку по влечению своего сердца, ничего не стоило съездить и за 250 верст. Сотни верст — в сибирских просторах расстояние пустынное. Он с удовольствием дал слово Якушкину, прищипнул своими длинными ногами верного Бурку и скрылся в переулке сонного городка.

Якушкин вернулся домой успокоенным. Комната его скорее всего походила на каюту. Стены были обтянуты черным коленкором. На черном фоне резко выступал в переднем углу артистической работы бюст красивой женщины — его жены. Между окнами, над письменным столом висели два детских портрета. Это были его дети. Выше — книжная полка, барометр, извальные из меди — работа старых великих мастеров Италии. Вот и все украшения его скромного жилища.

Переодевшись в халат и вязанные туфли, Якушкин подвинул к столу складной табурет и принялся за письма. Перо быстро бегало по бумаге, листок за листком отбрасывался в сторону. Свеча догорала, и розовое утро обрисовывало холодные, но

прекрасные черты белого бюста. У ворот послышался топот лошадей и дребезжание тележки. Стукнул калиткой широко шагающий Жилин, прозванный в городе «Журавлем». Якушкин предложил ему трубку, поторопился закончить и запечатать письма; вручил ему на расходы весь имеющийся в наличности капитал и молча, с признательностью, горячо обнял Жилина. По уходе его, он бросился на свою жесткую кровать и заснул здоровым и крепким сном.

Муравьев же вовсе не смыкал очей в эту ночь. Оставшись один в своем кабинете, он беспокойно принялся бегать из угла в угол. По временам он бросался в свои покойные кресла и принимался за газеты, привезенные Каролиной Карловной, но буквы и строчки мелькали в его глазах. И он бросал газеты, брался за трубку и снова принимался мерять диагональ своей комнаты. Так и прошла вся ночь. Утром, по обыкновению, он вылил на себя в бане два ведра холодной воды и почувствовал себя бодрее. Он вышел на чистый дворик, сияющий утренним светом. На крыльце сладко спал пожарный, охранявший приезжую. Вскоре явился к чаю Якушкин и рассказал о своем предприятии. Мрачное расположение духа Муравьева сменилось надеждой и он застучал по клавишам. Каролина Карловна возилась на ковре со второй воспитанницей Муравьевых — Аннушкой.

Весть об обыске и аресте приезжей быстро облетела Ядutorовск. Многие уже заранее приветствовали городничего с наградой: крестиком или чином за то, что сбил спесь у этих «французов». А мальчишки уездного училища были неприятно поражены, когда на урок геометрии явился не их любимый «Журавль», а сам «Ворон» — смотритель Лукин. В то время, когда «Ворон» объяснял им равнобедренный треугольник, Александр Львович был уже далеко.

Городничий Власов тоже посылал нарочного в губернский город Тобольск с донесением о своей неусыпной административной деятельности. Нарочного немного задержали дочери градоправителя, не успевшие составить реестр необходимых покупок.

На третий день после обыска у городничего была веселая вечеринка. В это время явился казак с конвертом от губернатора. Грозная бумага не на шутку напугала начальника Ядutorовска.

— Как он мог так скоро узнать и зачем такая неприятная бумага, вместо благодарности за усердие? — недоумевал городничий.

Случай этот произвел переворот во взглядах туземных властей, благоприятный для кружка ядutorовских декабристов.

5

ДЕКАБРИСТ ЯКУШКИН ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В «ДЕЛАНИИ ЗАСУШЛИВОЙ ПОГОДЫ» И В КОЛДОВСТВЕ

Праздничный летний день. Стоит сильная жара. Сгоревшая трава покрыта белой пылью. Оводы, называемые по-местному

пауты, стайками носятся над заморенными лошадьми.

— Эка жарынь-то! — говорят просезжие крестьяне, — ночью бы надо выехать-то.

— Ночью! — угрюмо возразил старик. — Подикось — надо и скотине отдохнуть.

— Хлебушко-то, хлебушко совсем выгорает... Не подсобили, стало быть, и наши молебны, а уж не мы ли их пели...

С трех сторон подъезжают к городу крестьяне и с трех сторон печально смотрят на них выжженные поля.

Такие же речи о выжженном хлебушке на устах у толпы, собравшейся возле закрытого до конца обедни кабака. Из толпы выделяется высокий старик-старобрядец с окладистой бородой, написшими усами и выстриженным кружком на макушке.

— Весь хлеб выгорит, — говорит он протяжно и наставительно. — Божья кара на вас... Все покроется пылью, так же, как души ваши вы посыпаете бесовской пылью — табачишем...

Человек с серьгой в ухе обратился к толпе:

— Вы бы, крещеные, поставили мне водочки-то малую толику, так я бы вам сказал — почему это дождей-то нету!..

В толпе послышался смех.

— Чего ржете? Божье наказание, да божье наказание... Заладила сороска Якова и твердит про всякого... А известно вам-то, что есть на белом свете такие люди, что дождь отводят?! Не желают, стало быть, что бы у хрестьян хлебушко был...

Многие в толпе навострили уши.

— Толкуешь — отводят?.. Рази может человек против бога управиться?.. Божий гнев — одно слово.

Но человек с серьгой в ухе не сдавался:

— Бог-то, бог, да сам не будь плох... А повороти-ко рыло вон в ту сторону... Видишь? — Оратор трагически вытянул руку в восточном направлении. Все оборотились туда же. Там в конце улицы, за маленьким двухэтажным домиком в три окна возвышался шест с поперечными палочками. Сверху шеста было что-то вроде коробики.

— Ну где же? Что такое?

— Шест-то, шест видите?

— Ну и что ж?

— Ну вот вам и весь сказ... Вот вам и нету дождя и не будет, пока вас, дураков, не надоумит умный человек... А умному человеку надо поднести... Что ж даром, что ли для вас, сиволопых, язык трепать будем...

— Ах, лешак!.. Пьяница!.. А мы-то думали, что и впрямь путное скажет...

— Ему бы водка была, а дождя ему вовсе и не надобно.

— Известно, ихнему брату — водка первое дело.

— Кабашная голова, — одно слово.

Пожилой крестьянин в рубаше с синими ластовицами выступил в защиту:

— Вы что ругаетесь-то? Может он и дело говорит?

— Какое—такое дело?

— А такое стало быть дело, что там

вот, где шест-то энтот, — человек один живет...

— Ну так что ж?

— Якушкин прозывается... Я картошку туда возил и своими двумя видал...

— Что видал?

— Что он на столб лазает. А на столбу, стало быть, стрелки. Стрелки-то энти самые дождя и не допускают. Подойдет туча, остановится над столбом-то, а там, глядишь, поворотила да и назад, назад и посухулась... А в столбу-то воет...

— Так он—что?

— Известно что: колдун.

— Кто колдун?

— Да Якушкин-то. Это что по лесу все ходит, да траву собирает. Дядя Филипп возьми да и спроси у него: на что, мол, травушку собираешь? А он ему и баит: «высушу!»

— Высушу! Высушу... — повторялось здесь и там по базарной площади.

— Высушу... Гм!

— Парня-то, стало быть, понапрасно обалайли... Парнюга-то недаром водочки пропил...

Речь о столбе Якушкина, о дожде и за-сухе ходила из уст в уста и волновала базарную площадь.

Обедня кончилась. Из церковных дверей выходила ялutorовская знать: городничий, исправник, барыни и барышни, последние, проходя мимо ряда франтов, мило улыбались и милостиво принимали разного рода учтивости и комплименты. Вышел церковный причт и за ним заперлись тяжелые дубовые двери. В ту же минуту распахнулась маленькая грязная дверь кабака, оттуда понесло сырым и затхлым воздухом. По двум ступенькам жаждающие вступали в большую, закопченную и заплесневелую комнату с двумя маленькими окошками; матовые от времени стекла слабо пропускали свет.

За грязным столом первым уселся малый с серьгой в ухе, повествовавший недавно о колдовских будто бы делах Якушкина. Малый пускал в ход всю свою изобретательность, чтобы такое заложить и достать водки? Он смотрел на ползавших по столу мух, опьяневших от пролитой водки, и мучительно думал.

Дверь скрипнула, и в кабак являлась кучка крестьян. Привыкнув к мраку и оглядевшись, они прямо приступили к парню с серьгой в ухе.

— Слушай, как тебя звать-величать?

— Антон Савельич, братцы.

— Так вот, Антон Савельич, мы тебя употребляем (то горло, — будешь сыт и пьян и нос в табаке... А ты Расскажи нам толком о столбе-то, и отчего, значит, дождя нету?...

Антон Савельич лукаво усмехнулся:

— Известно, братцы, за прехи, стало быть, нашинские...

— Да ты, Антон Савельич, не ломайся: мы ведь к тебе недаром. Хозяин, поднеси ему! А ты нам насчет столба-то...

Утолив жажду, Савельич начал несколько издали:

— Я, братцы мои, служил во дворе одном, богатеющем, значит, княжецком. Не здесь,

а там в Рассее. Дворни одной, почитай, с сотню будет. Дом большущий, каменный...

— Да ты о столбе-то, о столбе...

— Я вам о том, ребята, и хочу. — Тут он снова хлопнул стаканчик. — Так на этом самом доме-то у нашего хозяина шест столб, чтобы, значит, тучи обходили, пролом не хватило и дождя не было... Это, ребята, как есть сушая правда... мне врать вам нечего — потому, как мы по-приятельски...

— Што ж теперь это значит? Какая в том столбе сила есть?

— Такая уж механика, значит, изделана, что и не будет дождя, ежели захочет. Конечно, неспроста... мастера такие есть...

Слушатели заволновались:

— Срубить бы его, братцы, надоть...

— Сруби, Савельич, напращение от нас произойдет, окромя угощения... Сорудовал бы ты нам это дельце...

Антон Савельич замялся:

— Оно бы можно. Дело-то плевое... А только так орудовать не годится... Пожалуй, и Якушкин нагадит... Лучше бы, браточки, по начальству.

— То ись — прошение подать: дождя мол, надо, господа начальники. Так оно, пожалуй, к Рождеству-то прошение получите, — вставил свое замечание какой-то балагур.

— Ну нет, не в том смысле... По-моему, милые, ползите вы прямо к господину городничему и все дочиста объясните. Сруби, мол, ваше вскорodie, — нету нашей силы-мочи терпеть обиду... А не то... воля ваша, мы, мол, сами, своим средством...

Крестьяне потолкались в кабаке еще некоторое время и, не добившись более ничего путного от захмелевшего Антона, побрели к городничему Власову.

Хорошо, что в это время не повстречались они с «колдуном» Иваном Дмитриевичем Якушкиным.

6

ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ «НАРОДНОГО ВОЛНЕНИЯ». ГОРОДНИЧИЙ У ЯКУШКИНА.

Якушкин готовил необходимые наглядные пособия для школы — склеил превосходный большой глобус. Он с любовью смотрит на свое произведение. Грезится ему, что пройдет немного годов и в Ялutorовске и его окрестностях не останется ни одного безграмотного; умная, честная, хорошая книга заменит и вытеснит штоф водки; может быть, имена их, невольных временных жильцов, будут помянуты с любовью.

Окончив глобус, Якушкин подошел к столу, чтобы записать свои метеорологические наблюдения: барометр предсказывал грозу.

— Степанида Марковна! — крикнул он работнице.

— Дождь будет.

— Вот это хорошо! Совсем я замучилась с этим огородом. А в котором часу будет?

Якушкин засмеялся.

— Часы и минуты сообщить не могу.
— Вот вы смеетесь. А мне белее нужно убраться...

Барометр определенно предсказывал бурю.

В дверях кто-то дернул колокольчик. Якушкин отворил их и, к своему удивлению, увидел перед собою красную, облитуя псом, физиономию городничего Власова. Он вытирался платком, раскланивался и, отдуваясь, говорил:

— Вы меня извините... такая собачья должность... Но притом и дело довольно серьезное...

— Что такое? — тревожно спросил Якушкин.

— Сейчас около сотни крестьян явились ко мне с жалобой на вас.

— На меня? Быть не может! Что же я мог оделать крестьянам?

— Гм... дело в том, что они, чорт возьми... они жалуются, что нет дождя.

Якушкин невольно расхохотался.

— Конечно, вам все это может казаться смешным... вам, конечно, нет дела, что у них хлеб весь выгорел, что может быть бунт...

Городничий с особой отчетливостью произнес слово: бунт.

— Но, помилуйте, разве я дождем распоряжаюсь? Вы или шутите, или...

— Я вовсе не шучу. Я понимаю, хотя разным там наукам не обучался, — что все это с их стороны одно слепое суеверие... Но для их успокоения, принимая во внимание их волнение, т. е. могущие произойти бунтовщические деяния... я дал им слово, что ваш столб будет срублен...

— Какой столб?

— Вот этот! — Он через плечо показал на столб для метеорологических наблюдений.

— Этот столб? С какой стати?

— Эти невежды полагают, что от этого столба нет дождя, и я...

— Ну-с эти невежды могут так полагать, потому что юни невежды... Ну-с, а вы, господин городничий, напрасно потропились дать свое слово: столба я не срублю!

— Но послушайте... вы поймите же, наконец... все требуют... порядка требуют, сложистия... я должен смотреть, предотвращать... Что ж, если вы сами не срубите или там не выкопаете, я сам...

— О, это другое дело... Если вам приятно, чтобы губернские власти вам опять разъяснили ваши обязанности, тогда — рубите, валите! Я препятствовать не буду.

— Но вы поймите, — крестьяне говорят, что они пойдут к вам, распорядятся по-своему... Вы в опасном положении... Они могут даже убить вас... Вы поймите!..

— Дело это я очень хорошо понимаю. К начальнику города являются крестьяне и говорят, что нет дождя... Хлеб сгорел... Начальник, справившись с барометром, мог бы сообщить им, что дождь скоро будет; может быть сегодня же...

— Так как же? — спросил Власов уходя.

— Столба я не намерен рубить.

— В таком случае, на меня не пеняйте,

если крестьяне... этак сами покажут вам свою мудрость.

— О, на этот счет я вполне сложен. Ведь мы, как вам более всех известно, находимся под надзором полиции. И странно было бы, если бы проницательная полиция допустила бы какое-либо посягательство на лиц, вверенных ее надзору. Этому, разумеется, не поверят и в губернии...

«Чорт! Дьявол! Шельма этакая, — повторил про себя городничий, едучи домой. — Хорошо кабы мужичье всех их перемяло! Не будь я городничим, чорт возьми, я бы их науськал...»

Дома за обедом он то и дело прикладывался к бутылке и вскоре заснул на славу. Вдруг страшный удар грома разбудил городничего. Оглушительные громовые раскаты заставили его немедленно спрыгнуть с перины. На дворе дождь лил, как из ведра. Зигзаги молнии бороздили темно-зеленоватые тучи, и удар за ударом долго сотрясал воздух.

— Свят, свят, господь Саваоф!.. — шептал Власов. — Ну, да по крайней мере мужички будут довольны... И не догадуются, свиньи, пожалуй, поблагодарить начальство... Эх, кабы он столб еще срубил! Ну да можно пустить слух, что припутнул-де, и стрелки снял...

Так думал он, суетливо расставляя на окнах стаканы со святой водой и раскладывая тут же ножи и вилки, чтобы уберечься от громовой стрелы...

Весело гуторила толпа в следующий базарный день. Беседовали о том, что вот как припутнуло начальство, так и дождя дали.

— А столб-то? — возражали скептики, — столб-то, эвоя, стоит!

— Мало что стоит... Да стрелки, слышь, снял.

Остается неизвестным, являлись ли богатеи к городничему с благодарностью? Говорят — являлись.

7

ПРИЕЗД ИВАНА ИВАНОВИЧА ПУЩИНА И ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА ОБОЛЕНСКОГО

Рекомендую вам, — обратился Муравьев к моему отцу, — еще двух наших.

И он назвал Пуштина и Оболенского.

Пуштин был выше Оболенского, пожалуй, втрое толще. Он был красив. Голубые глаза смотрели весело, светлые волосы никак не хотели лежать по указанию гребенки, но, поднявшись над прямым лбом, перекидывались аркой вперед, под широким носом светлые усы ложились на верхнюю губу тоже выпибом; из-за высокого галстука, небрежно повязанного, выходил широкий отложной воротничок рубашки.

Оболенский был довольно тонкий, немного сгорбленный; одет в серое коротенькое пальто. Он носил маленькие бакенбарды, похожие на запятые, между которыми помещалось длинноватое кроткое лицо.

— Они будут жить с нами в Ялтуторов-

ске, — сказал Матвей Иванович, — прошу любить и жаловать.

И с этих пор в обществе наших декабристов являлись постоянно Иван Иванович и Евгений Петрович.

★ ★ ★

Осенний дождь усердно барабанил в освоенные окна угловой комнаты Ивана Ивановича Пушина. После мокрой и грязной улицы эта комната с камином и мягким диваном казалась очень и очень привлекательной. Тут сегодня находился весь кружок в сборе. Светлее и светлее разгораются березовые дрова в камине, спиной к которому стоит, покачиваясь на каблуках, Оболенский, и спокойно возражает Якушкину, который по обыкновению горячится. В углу на диване с газетой в руках сидит Матвей Иванович Муравьев. В задних комнатах слышится голос Пушина, делающего хозяйственные распоряжения. Василий Карлович Тизенгаузен по обыкновению молча измеряет шагами комнату. С остервенением рвется в окна непогода. Светлее и светлее разгорается камин...

В передней хлопнула наружная дверь, и зазвонил колокольчик. Кто же это? Дамам являться еще было рано, поэтому все поспешили к передней. Там стоял промокший насквозь пожилой крестьянин, пришедший, по его словам, к его благородию с просьбой насчет своего делишка. И он спокойно безыскусственным слогом начал повествовать о своих горьких хождениях по судебным мытарствам. Из-за каждой фразы его простого рассказа выглядывали призраки: неуважение к личности, кулачная расправа, взяточничество, беззаконие... — Что же я могу сделать? — спросил Пушин.

— Да уж не знаю... Сделай божешкую милость. А уж окромя тебя, мне больше идти некуда, — безнадежно произнес крестьянин.

Пушин предложил ему еще несколько вопросов. Записал, что нужно и, пообещав крестьянину похлопотать за него, возвратился к компании, сидевшей молча под влиянием тяжелого рассказа.

Предсказав свое обычное ох-хо-хо, Муравьев разразился громами. Пушин сел к письменному столу и принялся за письмо.

Всем сделалось легче, потому что все знали — в письме излагается дело только что ушедшего «Антона Горемыки». Все знали, что письмо Пушина к губернским друзьям имеет большой вес. Знали это ялutorовцы и поэтому вскоре после его прибытия в город устремились к нему все униженные и оскорбленные, предпочитая его всем дипломированным адвокатам. Уверившись, что дело, о котором его просят, законное или гуманное, Пушин брался за перо, и в Tobольск летело письмо за письмом; хлопотал он за других всю свою жизнь, мне случилось встретить человека, который с восторгом рассказывал, как он, зная Пушина только по слухам, обратился к нему письменно, прося похлопотать о деле. Он вскоре получил ответ, писанный уже посторонним человеком под диктовку Пушина, в письме было уведомление, что по письму сделано все, что воз-

можно. Письмо это было написано накануне смерти Пушина...

Вскоре в соседней комнате зашипел самовар, принесенный молодой невзрачной горничной Варварой. На этой Варваре Самсоновне решил жениться Оболенский, выдержав целую бурю со стороны своих друзей. На Оболенского посыпались сначала увещания, потом советы и сожаления, но Оболенский был непоколебим в своем решении.

— Брат твоей невесты, — кричал Матвей Иванович, — служил у меня кучером и был прогнан, как вор и пьяница!

— Я женюсь не на брате, — возражает Оболенский, приводя своим хладнокровием Муравьева в ярость.

— Твоя невеста некрасивая и необразованная!

— Я постараюсь ее образовать.

— Еще вопрос: каково ее поведение?

— Мне это лучше знать.

Оболенский согласился на одно: отложить на время свадьбу, испытать себя.

Два друга расстались. Оболенский переехал на особую от Пушина квартиру. Варваре Самсоновне тоже была нанята особая квартира.

— Испытание на себя наложил... Ох-хо-хо, — говорил Муравьев.

Срок испытания благополучно прошел, и Оболенский остался тверд в своем решении. Через некоторое время мы все присутствовали на венчании Оболенского и Варвары Самсоновны. Друзья снова открыли свои объятия для него и его молодой жены и общими силами помогали в исполнении ее образования.

8

ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА СРЕДИ ЯЛУТОРОВСКИХ ДРУЗЕЙ

Наступила зима, последняя зима под родительским кровом. Придет лето и меня отвезут в Tobольск, там я буду учиться в семинарии. Я так сроднился с городом, с моими друзьями декабристами, что мне представляется печальным мой будущий отъезд. Я много пуляю на воздухе и часто зябну. Приходится оттирать уши снегом и спиртом.

Наш Петр, ревностный почитатель моих талантов, прибегает, наверное, к такому же способу согревания, так как частенько от него пахнет спиртом.

— Зноблось, — говорит он, слушая разговоры матери, — зноблось, лицо оттираю, оттого и спиртом пахнет. Вон птица и та на лету замерзает, а у лошадей от морозу-то кровь из носу идет.

У печки сидит отец и варит состав для золочения. Я сижу у стола и рассматриваю гальваническую батарею, устроенную для отца Якушкиным.

В это время скрипнула дверь и в морозном облаке показалась темная фигура самого Якушкина в острой шапке и в шубке с «крылышками».

— А вот они все за работой! Здравствуйте! — говорил он, освобождая свои усы от длинных ледяных сосулек. Он по-

додвинул низенькую скамеечку и сел рядом с отцом перед печью. — Ну мы с вами теперь настоящие колдуны: снадобье варим... А морозец сегодня добрый!

— Я сегодня вас и не ожидал из-за мороза.

— Думал было не выходить сегодня, да не утерпел, вспомнил, что около вас дом пустой сдается в аренду.

— Так вы и побежали, чтобы не упустить нанять под школу?

— Да, и нанял уже, и дешево нанял. С завтрашнего дня начнем кой-какие переделки да поправки, а недели через две у нашей мужской школы будет сестрица — женская школа.

— Успеет ли так скоро?

— Да отчего же: столы почти готовы, таблицы тоже позаимствуем из мужской

школы. Наши дамы очень торопят, просят работы. Пусть же они и ведут школу, а мы будем только руководить. И они долго толковали о женской школе. А из-за перегородки доносится рассказ бабушки о «добром, старом времени».

— Вот хоть насчет прислуги: калмычки нипочем были; мой покойничек за мешок муки купил. И такие работающие и преданные были! Спились только потом.

— А ничего не имеете против того, — говорит Якушкин, — что мы с девочками поместим учиться несколько мальчиков, вот хоть Балакишиных?

— Разумеется ничего.

— Опыт нас умудрил. Теперь уж мы не поддадимся, не позволим, чтобы нашу новую школу прихлопнули из-за доносов, — добавил Якушкин с улыбкой.

